

**ЧЕЛОВЕК
1 1992**

Истории Тимофеева-Ресовского, рассказанные им самим



ФОНОГРАФ



Н. В. Тимофеев-Ресовский дома во время беседы. Обнинск. 1974 г.

Германия. Начало работы

Еще до моего приезда в Берлин для меня были наняты двое сотрудников. Это я разрешил Фогту. Он правильно сказал: «Вы все равно никого не знаете. Я Вам подыщу двоих молодых людей». Я сказал: «Подыскивайте». Оба оказались очень подходящими. Один — русский немец, Михаил Иванович Клемм. Он прекрасно говорил по-русски, несколько хуже по-немецки, по-французски совсем плохо, английским вовсе не владел. А другой — очень талантливый зоолог, очень симпатичный молодой немец, родившийся и выросший в Америке, поэтому имя ему было Вильям Фред Райниг. Он хорошо говорил по-английски, не разучился за время войны и послевоенного времени. Он, к сожалению, в конце войны погиб в Норвегии. Хороший был очень человек, первоклассный зоолог, добропорядочный и антинацист страшный. А Клемм в конце концов занялся прикладной зоологией и потом перешел в чиновники биологические. Он жив до сих пор, старичок. И очень полезный человек для нас, потому что он там реферировал всю русскую зоологическую литературу и помогает, ежели что-нибудь переводится наше.

Ну вот, начали мы маленькой такой лабораторией работать. Затем лаборанточка какая-то появилась у нас, потом присоединился еще один, такой уже пожилой дяденька, специалист по шмелям, изменчивостью шмелей занимался, профессор Крюгер. И было у нас три комнатки. И поставили-таки мне телефон. Я сопротивлялся. Сам Фогт, старик, пришел меня уговаривать: «Это удобное изобретение человечества». А я терпеть не мог и до сих пор терпеть не могу телефона. Я всегда говорю, что ежели я кому-нибудь нужен, может прибежать ко мне. А то этот треп телефонный — ужасная штука. Времени уходит больше,

Продолжение. Начало
в №№ 2—6, 1991 г.

© Научной библиотеки
МГУ



чем ежели нет телефона. Но меня все-таки уговорили. Единственное, на чем я настоял, чтоб его Елене Александровне, жене моей, поставили, в лабораторию-то.

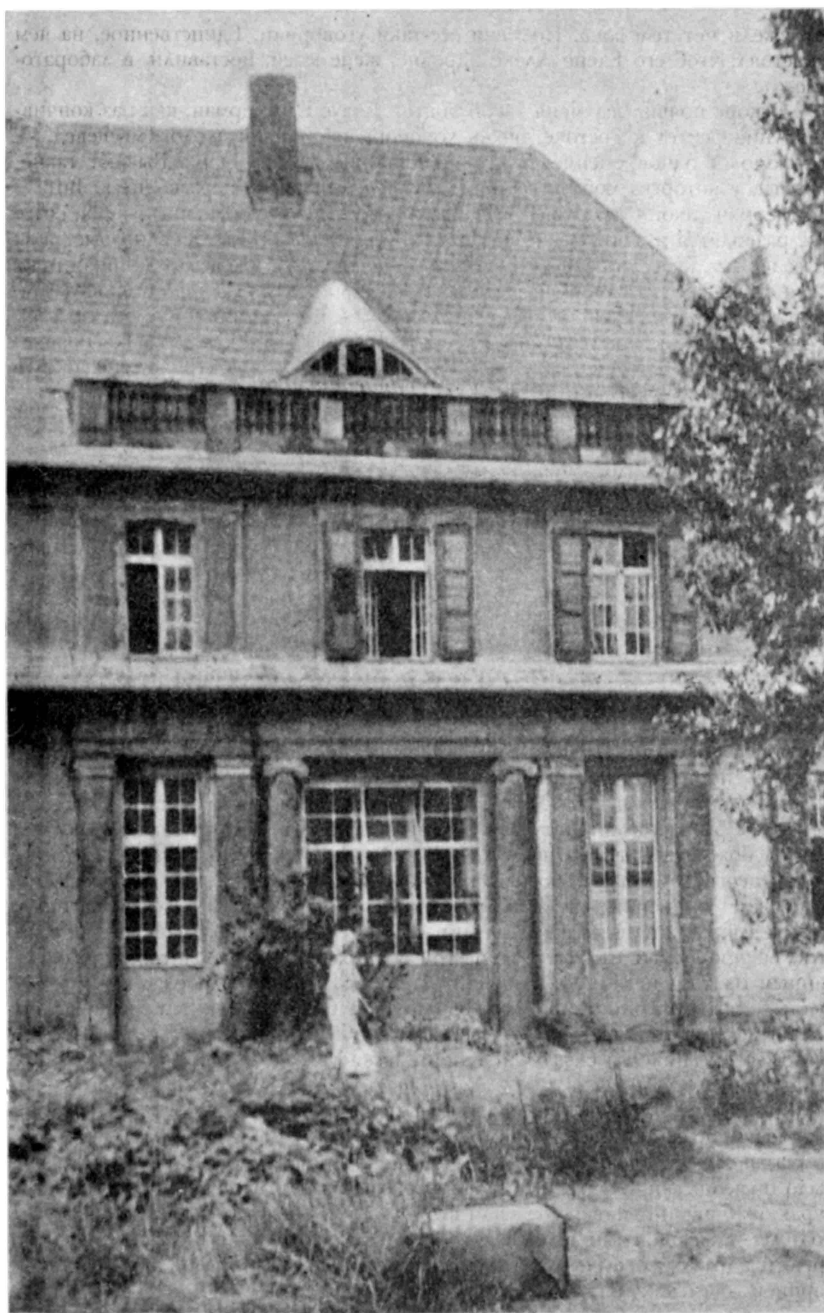
Вскоре появился у меня такой доктор Клаус Циммерман, как раз кончивший университет в Ростове, очень хороший, настоящий зоолог, мышевед и энтомолог одновременно. У Циммермана был талант, дар... Бывают такие зоологи, у которых любая скотина плодится, множится и разводится. Вот Циммерман такой был. Существует давно много мелких млекопитающих, которые разводятся и в зоологических садах, и в лабораториях, и некоторые дамы их содержат, разводят и т. д. А есть виды, которые ни у кого нигде никогда не размножались. А Циммерман... сажает в такую большую стеклянную аккумуляторную банку, большую, чтобы выпрыгнуть не могли, бросает им там сенца, чтобы они могли зарыться, кормит чем-нибудь и глядишь — детиски появляются у них, и великолепным образом они размножаются. Приходится писать статейку в зоологический журнал, что вот, каким образом — неизвестно, но размножаются они в лабораторных условиях вполне.

Тут появилась, кроме Циммермана, еще одна такая польская еврейка Тененбаум Эсфирь Абрамовна. Она лучше всего говорила, пожалуй, по-немецки, потом по-русски, немножко по-польски, немножко по-французски. В 34 году, уже Гитлер тут был, мы с Фогтом умудрились ее переправить в Палестину, в Иерусалимский университет, и там она до конца войны благополучно занималась наукой. Что после войны с ней случилось, этого я не знаю.

Так вот в Берлине собрались поначалу эти первые мои немецкие соотрудники. Занимались мы дрозofiлой. Я заставил всех их, кроме Крюгера (он сидел там со своими шмелями и, действительно, знал в лицо каждого шмеля), поработать с дрозofiлой. Каждый у меня сделал какую-нибудь дрозofiльную работу. Все они более или менее всерьез не столько усваивали, сколько осваивали генетику, чтобы затем всякими делами биологическими заниматься уже, так сказать, на теоретическом генетическом фундаменте. Тут я всех уговорил попробовать заняться экспериментально-систематическим и географическим анализом какого-либо вида, конечно, насекомых имеется в виду. И вот мы рылись в литературе и, наконец, нашли, я, кажется, нашел в конце концов божью коровку — эпиляхну. Большинство известных вам и другим людям неосведомленным, божьих коровок тляедающие, полезные для человека. А эта жрет тыквенные растения различные. На юге она является вредителем бахчей всяких: арбузы, тыквы, огурцы, дыни. Очень широко распространенный жук, на проростках тыквы можно его легко разводить. По литературным данным он дает несколько поколений в год. Мы потом увидели, что можно шесть-семь поколений в год получить. Под конец работа велась в очень разных направлениях; от почти теоретической физики до почти чистой зоологии. И все это было органически связано и теоретически увязано с генетикой. Эта затея у нас удалась.

Первые три года моей заграничной жизни прошли в Берлине, до переезда в новое помещение института в Бухе. Было довольно тесно, но было три комнаты. Но, с другой стороны, было достаточно просторно, потому что не было практически лаборанток, этой чумы советских наук. Потому что каждый дурак, кончивший университет или вуз какой-нибудь, требует себе лаборантку, поэтому бездельницами-девками, которые смотрят в окно, ковыряют в носу, трепятыся друг с другом и трепятыся по телефону, забиты все коридоры и лаборатории в советских институтах. Этого там нет.

Ежели ты доработался и дожил до собственного телефона служебного — трепись на доброе здоровье, это твое собачье дело. Но так на казенных телефонах общего пользования трепаться никому не полагалось. По делам службы — пожалуйста, им можно было пользоваться. Но чтобы лаборантки, как у нас, обсуждали, что там-то выбросили туфли, а там выбросили еще что-то? За это выгоняли со службы. Полагалось работать тогда во всем цивилизованном мире. Восьмичасовой рабочий день. Никаких этих советских штук, как одно время у нас: опоздал на три минуты — скандал. Этого нигде не было, кроме как у нас. Около 9 все должны были собираться на работу, около 6 уходить с работы. Час полагался на обед, между 12-ю и 3-мя каждый мог на час уходить, конечно, по уговору со своим начальством, куда хочет, хоть в шикарней



ресторан, хоть домой, хоть в пивнушку — куда угодно. Но это, конечно, препараты, техники, лаборантки, служительницы — вот такая публика. Научные работники имели так называемый неограниченный рабочий день. Они могли когда угодно приходить, когда угодно уходить. И все. Конечно, опять-таки по уговору со своим заведующим лабораторией. И это естественно. А больше никаких особых формальностей не было. Вот.

В 28 году мы первыми в фогтовском институте переехали в Бух, где в то время уже строилось большое шестиэтажное новое здание института, и моя

Бух. Дом, на втором
этаже которого жили
Тимофеевы-Ресов-
ские. Снят в 1973 г.



ФОНОГРАФ



лаборатория должна была стать отделом этого института. Когда-то в 20-ти километрах от Берлина была расположена деревушка Бух, по-видимому, очень древняя. Раскопки показали, что на этом месте еще в бронзовом веке были какие-то поселения, не то германские, не то славянские. А потом появилась немецкая или прусская деревушка, то есть литовская, которая онемечилась, а рядом разросся Берлин. И в 90-е годы XIX века, когда Берлин стал расти очень быстро и сделался столицей мощной большой Германской империи, то было решено за пределы Берлина поменьше выносить берлинские больницы и клиники. Совершенно разумная вещь. Чем в центре, в духоте, в дыме, в копоти, держать крупные больницы, не лучше ли их на свежий воздух? И большие городские клиники решено было построить около этой старинной деревушки, в которой было, ну, может 15—20 крестьянских дворов и довольно старая церковь XVII века с хорошим очень органом.

И вот тогда, сильно разбогатев, Берлин построил там два госпиталя для стариков, что-то среднее между богадельнями и больницами, куда по дешёвке или бесплатно, а потом по больничным кассам могли помещаться старые люди, либо одинокие, либо больные чем-нибудь хронически. Затем построили на полторы тысячи человек детскую больницу. Окружена она была лесом и лугами, какое-то небольшое озеро было. Прелесть место! Потом в другом месте опять-таки на опушке леса небольшая туберкулезная больница. На восемьсот коек. Но по сравнению с госпиталями и с детской — небольшая. И затем огромная нервно-психиатрическая клиника на 4000 коек, или на 5000. По тогдашним временам это, конечно, огромное учреждение.

Рядом с клиникой, с одной стороны по периферии, за пределами ограды располагались Landhaus'ы. Такие что ли дачи, кирпичные большие дома двух-этажные, в которых лечили алкоголиков и отчасти других всяких шизиков,

Бух. Флигель дома, где жили сотрудники Кайзер Вильгельм Института. Снят в 1973 г.





наркоманов различных. Вокруг каждого дома была своя большая территория паркового типа. И вот один такой Landhaus был предоставлен институту фогтовскому под мою лабораторию, пока строилось новое здание. Мы переехали первыми, потому что нам для культур много места потребовалось, да и народу немножко собралось. Приезжали из-за границы люди поучиться генетике, из Германии из разных мест молодые люди поработать. Так что всякой такой научной публики становилось все больше и больше, и в трех комнатках в старом берлинском помещении жить нам стало тесно.

Так как город ничего раздаривать не может, формально здание было сдано Берлином в аренду Kaiser Wilhelm Gesellschaft*, как Вы думаете, за сколько? За десять марок в год. На сто лет. Еще до войны 14 года Бух, где уже функционировали все эти огромные клиники и больницы, стал частью Берлина. Берлин просто купил эту деревню. Бух был островом Берлина за его пределами. Мы на электричке ехали до Буха по неберлинской земле, по полям всяким, лугам и перелескам некоторое количество километров, а потом въезжали в Бух, и это был опять Берлин. Так что в Бухе были все выгоды столицы и прелести деревни, так сказать, загородного места. А за границей загородные места обычно прелестные, особенно в Германии. А вместе с тем в смысле снабжения, в смысле удобств — все было как в лучших европейских столицах.

Вот в конце 28 года за год до окончания строительства нового здания мы переехали в этот самый Landhaus-5, а рядом был Landhaus-4. Там профессионалы-пьяницы лечились, а тут любители выпить.

И очень это было выгодно и удобно, так как с большим удовольствием эти больницы нам поставляли, так сказать, низовую рабсилу. При этих огромных клиниках были всякие мастерские: и портновские, и сапожные, и столярные, и слесарные, так что там могли работать хроника эти самые и немножко зарабатывать. Так как в Германии, капиталистической, не социалистической, были самые социально передовые рабочие законы. Такого, вообще, безобразия по части рабочих законов, как у нас, я нигде в мире не видел. В Германии же рабочее законодательство было, действительно, здорово поставлено. Я вот получал жалование выше границы, за которой человек обязан был состоять

Эдинбург, 1939 г. На прогулке слева направо: Н. В. Тимофеев-Ресовский, Г. Мёллер, К. Дарлингтон

Обществу Кайзера Вильгельма.— Ред.



в больничной кассе. Что совершенно разумно, потому что ежели человек получает достаточно жалования, чтобы лечиться на свой счет, на кой ему черт больничная касса. Пусть лечится на свой счет. А кто мало зарабатывал, те обязаны были состоять в больничных кассах. Благодаря им всякие хроники могли одиннадцать месяцев лечиться, но не дольше. И ежели оказывалось, что они недолечены, они еще раз могли поступить на одиннадцать месяцев, после испытания.

Эти больницы предоставляли нам за очень дешевую цену так называемых кольфакторов — служителей. Они убирали, подметали, носили, и всякая такая штука. Ежели нужно было у нас всякие культуры разводить, то они садовые работы неспециализированные выполняли. Вот такие служители были — очень удобная и полезная для нас вещь.

Эти пьяницы-то, вообще, были очень хитрые люди. Они прекрасно, цивилизованно жили в Landhaus'ax на всем готовом, работали, зарабатывали. Затем через 11 месяцев они уходили, как мы говорили, в отпуск на месяц. От них требовалось только одно: оставить себе на конец отпуска достаточно денег, чтобы погулять «с крахом»: несколько раз выпить, по возможности с повреждением дешевой мебели, с разбитием дешевой посуды, так, чтобы жена могла вызвать полицию, не боясь заплатить штраф. (Ежели без надобности полицию вызываешь, штраф платишь.) И тогда составлялся протокол, что, значит, недолеченный, и он опять за счет больничных касс переправлялся в свой Landhaus, опять поступал на работу. Так они и жили. Там были такие фокусники, которые чуть ли не десять лет так жили. Когда в начале тридцатых годов начали в Германии вводить экономии всяких государственных средств, то догадались и на этом начать экономить, и стали выгонять на волю этих самых якобы недолеченных пьяниц. Пьянствуйте за свой счет и сами о себе заботьтесь. У нас был такой герр Матиас в лаборатории, симпатичный пожилой мужик, очень аккуратный. Однажды говорит: «Да, герр доктор, времена-то какие настали: недавно лишних почтовых чиновников сократили, а сейчас и нас, алкоголиков, сокращать начали». Совершенно искренне: сокращают разные профессии и нас, алкоголиков, сокращают.

Так вот, переехали мы в Бух и один год были там одни совершенно. Жили на втором этаже этого Landhaus'a, мы, Царапкины... Да, я еще забыл, Царапкин в 26 году приехал. Значит, еще один сотрудник был. Затем Циммерман... мы все жили на втором этаже. А в нижнем этаже были лаборатории. Помещений была масса. Глядели, как достраивался институт. Я наблюдал за тем, чтобы оранжереи мои были правильно построены. Дело в том, что при новом здании института я заказал себе две специальные оранжереи для экспериментального разведения животных и растений. Такие оранжереи в те времена, в конце 20-х годов, не так-то уж часто встречались и за границей. Это опять-таки было весьма поучительно. Когда нам уже в других местах пришлось работать, опыт этот очень пригодился.

Происходило заказывание оранжерей следующим образом. Мне ориентировочно было сообщено, на какую сумму я мог рассчитывать, и я решил так. Шестиэтажное здание института большое, такой длинный четырехугольник, у южной короткой стены пристройка трехэтажная. В этой пристройке располагался мой отдел, очень большое помещение было. А к его южной стене были пристроены две оранжереи параллельно, с небольшим проходом между ними. Вход из одной комнаты нижнего этажа этой трехэтажной пристройки. Каждая оранжерея разделена на две части продольно. Одна состояла просто из двух половин, вторая — тоже из двух, но ее вторая половина была еще разделена на восемь частей. Посередке проходил коридор, а из него были входы с каждой стороны в четыре отдела, все это стеклянное. Причем это было задумано как политермостат: каждый отсек на разную температуру. Главное же заключалось в том, что хотя была общая теплоцентраль и отопление, но регулировка отопления оранжерей была своя, отдельно. Оранжереи эти должны были быть пригодны для трех целей: для массового разведения тыквенных растений, чтобы кормить божьих коровок наших, для разведения аквариумных рыбок в больших количествах и для разведения этих божьих коровок в больших количествах, в десятках и сотнях тысяч при разных температурах.

Когда я все это распланировал, и мы договорились с моими сотрудниками,

что нам нужно, я обратился в три самых крупных немецких оранжерейных фирмы с письмом, что я предполагаю для такого-то института построить в Берлин-Бухе две спаренные оранжереи специально для разведения всякой всячины, мне нужной. И дальше происходило так, как раньше при постройке, например, железных дорог в России. Поставщикам устраивался конкурс. Составлялся примерный проект того, что нужно выстроить, и привлекались различные фирмы поставщиков, которые конкурировали: кто дешевле его выполнит, конечно, при соблюдении определенных качественных и количественных условий. В течение одной недели у меня побывали представители всех трех таких фирм. Они приехали уже с альбомами оранжерей, ими выстроенных, с примерными типовыми планами и проектами. Мы с ними позаседали. В конце рэнцов, я договорился, к счастью, как оказалось, с самой лучшей фирмой Рёдера в Дрездене. Она мне показалась самой толковой, и я заключил контракт.

В общем, я потратил на это изрядное количество времени в течение месяца: сначала всякие разговоры, вычерчивание плана, предложения и условия. Еще одна неделя у меня ушла на рассуждения с фирмами и выбор, и за одну неделю избранная фирма представила окончательный проект. Как вы думаете, сколько еще прошло времени до того, как мы вселились в эти оранжереи с нашими культурами. Месяц! Месяц! У нас бы это полтора года продолжалось. Полтора года! Я знаю. У меня на атомном объекте год значительно примитивнее две оранжерейки целый стройбат строил по упрощенным буховским проектам, которые я на память восстановил. Год. А там месяц. И никакого стройбата не было, а было какое-то небольшое количество рабочих.

Сверху оранжереи имели водяное охлаждение: вдоль, по коньку крыши шла труба, и по бокам ее были маленькие отверстия, через которые пускалась холодная вода. И летом можно было на десять-пятнадцать градусов снизить температуру таким образом. Но это уже была забота садовника. Он же отоплением и охлаждением ведал. Так это шло, значит, круглый год с 28 года до 45. 17 лет без всяких поправок, без ремонта. И до сих пор они там работают. Вот как дела делаются, ежели попросту, а не с фокусами нашими. Я уже теперь забыл точные цифры, стоило это гроши совершенно. У нас такие оранжереи построить в финансовом отношении немислимая вещь, и подготовка вся потребует двух-трех лет. И осуществление полтора года минимум. А потом надо начинать ремонтировать и устранять недоделки.

В Бухе уже помещения было много, у нас стало просторно. Было достаточное количество лабораторных комнат, достаточное количество микроскопов и луп и, вообще, нужного оборудования, и начали появляться все новые и новые сотрудники. Штат мне увеличили в смысле денег. Надо сказать, что за границей-то удобно, конечно. У нас на жалование сотрудников — одна статья, а другая — на оборудование, аппараты и инструменты, третья — на командировки, четвертая — еще на что-нибудь. У нас считают, что все мы жулики, боятся, что украдем, поэтому семь подписей нужно на каждое дерьмо: что на электронный микроскоп, что на фунт гвоздей — те же семь подписей. А при семи подписях вообще не известно, на ком это висит, электронный микроскоп или гвозди. И красть чрезвычайно просто. И проще всего раскрасть имущество казенное. Употребить в дело труднее намного. Во-первых, часто дела не бывает никакого, а имущество есть. Ну и во-вторых, чтобы на дело употребить, нужно работать, а у нас преимущественно не работают. А там таких сложностей, в сущности, нет. Я мог своей властью тратить деньги, скажем, брать сотрудников лишних, мог даже уволить ненужных сотрудников. Можно было хозяйствовать: и экономить, и рассуждать, как лучше деньги истратить.

У нас это невозможно, потому что нужно деньги отрывать, а потом их как-то тратить, потому что у нас деньги не переживают первое января, так же как и штатные единицы. Поэтому конец октября, весь ноябрь и декабрь во всех учреждениях Советского Союза (а Советский Союз только из учреждений и состоит) происходит разбазаривание казенных денег. Мы в свое время на Урале покупали подвесные моторы для лодок, кататься по озеру Миассовскому. Только бы по безналичному расчету. По безналичному расчету покупать можно, но ничего нет нужного, за наличные же продается только ненужное. Так у нас жизнь «разумно» устроена, поэтому хозяйствовать очень трудно. Но можно,



однако. Плохо — но можно: завести лаборантку, которая не что иное, как супруга председателя колхоза ихнего. И тогда все идет, как по маслу. Например, в магазинах медицинского оборудования московских, калужских есть микроскопы, бинокулярные лупы, зооанатомический инструмент — все, что угодно, только все по наличному расчету. Мы не можем купить. А колхоз может. Ему, конечно, все это без надобности, но он купить это может. Теперь: колхоз хоть и колхоз, но все-таки советское учреждение и может нам по безналичному расчету перепродать. Значит, председатель колхоза совершенно честно, потому что и лаборантка честная и супруг честный, по той же цене перепродают нам уже по безналичному расчету.

Этим я тут занимался, конечно. Там все это без надобности. Там я мог управляться, как хотел. Например, мы из своего бюджета за два года сэкономили нужную сумму для приобретения первого (служившего для биологических целей) в мире нейтронного генератора, уже в самом конце тридцатых годов.

Ведь наше отечество опять-таки уникальное в своем роде; это единственная страна не только в Европе, а и во всем мире, где нельзя экономить. Нам же все время говорят: «Экономьте государственные средства!» А куда их экономить? Не истратишь — отберут. И это еще полбеды. На следующий год меньше дадут, так что прямо хана — и все. А там всего этого нет. У моего отдела был свой банковский счет, и ежели что-нибудь сэкономили — хорошо, значит на следующий год будет больше денег, а не меньше.

При этих легких условиях, которые, однако, во всем мире считаются не какими-нибудь достижениями, а совершенно нормальным состоянием вещей, очень просто было научным учреждениям хозяйствовать. Наша эта система, замечательная по сложности и, я бы сказал, своего рода бухгалтерской красоте, она ведь еще имеет нехорошую сторону: она развращает людей служащих.

И чем выше рангом — тем больше развращается советский чиновник. А все советские люди — чиновники, потому что они все на казенных харчах, так сказать, состоят. Но тот, кто за что-то отвечает, должен ловчить, мудрить, глядеть, как бы что обойти. И получается чрезвычайно любопытная вещь. Все советские учреждения, в особенности научные, все время скулят: «Ах, хорошо буржуям, у них оборудование в институтах превосходное, у них денег на оборудование много. У нас лаборатории нищие». Врут! Все наши лаборатории, все наши институты забарахлены по первое число. Потому что покупается не то, что нужно, а то, что можно. Поэтому забарахленность наших научных учреждений совершенно фантастическая, особенно столичных, московских.

Теперьшняя моя «косметическая» контора, в которой я имею честь состоять, — это на грани фантастики совершенной. Когда-то, 15 лет тому назад, люди, руководящие в этой самой конторе, решили построить лабораторный комплекс, чтобы на Земле, на нашей планете проводить модельные эксперименты, подобные тем, что должны происходить в космосе. В космос тогда еще и Гагарин не летал, кажется, и вообще только разговоры были одни. И построили. На Хорошевском шоссе, где я работал, из моего окна видно, стоит замечательное здание: сплошное стекло, железобетон и прочее. И стоит, и стоит, и стоит. Обошлось оно пока только в 26 миллионов рублей. Миллионов рублей! Пока в нем ни гвоздя ни в научном, ни в техническом — ни в каком смысле не сделано. Но туда никого не пускают. На наши пропуски нужно какую-то особую птичку, чтобы в этот самый стеклянный дом войти. Можно и без птички, но тогда нужно с заднего входа. Так вот. Сейчас все самое высшее начальство этой «косметической» конторы нашей думает: угробили 26 миллионов, и что, выход-то какой? А угроблены они так талантливо, что делать разумного ничего нельзя в этом здании. Его нужно либо сломать и новое здание построить, либо затратить еще 25 миллионов на переоборудование. И уже третий год самая трагическая проблема, которая висит над институтом — что делать с этими похороненными 26 миллионами.

Это я рассказываю про свою контору «косметическую». Официальное название: Институт медико-биологических проблем Министерства здравоохранения. Совершенно секретное название, чтобы никому не было известно, чем там занимаются. Но можно было что угодно написать, потому что там все равно ничем не занимаются, стало быть и засекречивать нечего. Ужас! Вы не представляете себе, вообще, что делается у вас в Москве. Это черт знает что!

Институт физики Академии наук*. Мне по долгу службы несколько месяцев тому назад в руки попало штатное расписание, я в какой-то комиссии участвовал: 7800 единиц! Вы представляете себе?! В семеновском институте 4 с половиной тысячи единиц. В нашей «косметической» конторе сейчас к трем тысячам подкатывает. Есть новая, новее нашей, контора, в которой совершенно неизвестно, что делать. Называется «Институт биотехники». Была идея разводить на нефти дрожжи для прокормления голодающих индусов, которые за эти дрожжи будут рупии платить. Скоро, возможно, и нас переведут на дрожжи, коли так дальше пойдет. А пока что вот мы, французы, англичане и еще кто-то, есть же такие боголюбивые люди, которые заботятся о голодающих индусах... В этой конторе, основанной три, четыре года тому назад, уже перевалило за две тысячи совершенных паразитов, понимаете ли? Это ужас, ужас, ужас!

Но вернемся в Германию. Там всего этого не было. Был очень простой, скучный порядок: начальство давало деньги. Их надо было тратить разумно, потому что тех, кто тратил неразумно, выгоняли со службы. Значит те, кто хозяйствовал научно, были люди разумные, по-разумному тратили деньги, которые получали. Расскажу вам в качестве примера, как иногда деньги на научные исследования выдавались. В Париже сидели три представителя Рокфеллеровского фонда: один крупный очень физик, затем тоже крупный экспериментальный генетик, и какой-то химик, с которым я никогда не имел никаких дел. В один прекрасный день звонит мне из Берлина по телефону кто-то из них, что они хотят ко мне заехать. Я говорю: «Заезжайте. У вас что, свой автомобиль?» — «Да, конечно, на машине». — «Ну, валяйте, приезжайте». Приехали два дяденьки, я им показал свою скромную лабораторию, все, что там было интересного, похвастался своей оранжереей. Они поохали, поохали. Действительно, оранжерея была исключительная, даже, пожалуй, единственная в своем роде для таких экспериментальных целей. К тому времени мы сами в маленькой мастерской соорудили еще термостат замечательный, в котором было восемь, по-моему, камер: от +5° до +40°. Причем регулировалась не только температура, но и влажность относительная. Регуляторы влажности мы сделали очень просто. За полторы марки можно было купить обыкновенные волосяные гигрометры. Мы десяток купили, разбили стекла и из них сделали терморегуляторы. Остроумным, простеньким способом. Но у нас невозможно же купить десять гигрометров, да еще сломать. «Посаже» произойдет.

Так вот. Приехали они, поболтали мы, позавтракали у нас дома. Потом они и говорят: «Вам, наверное, деньги нужны?» Я говорю: «Да, деньги? Есть у меня бюджет. Хватает денег». Они говорят: «Ну, все ученые всегда требуют денег, всегда нужны деньги». Я говорю: «Ну, пригодятся, ежели... А что, у вас много денег?» Они: «Есть, на то мы и Рокфеллеровский фонд. Мы Вам можем, ну, пару тыщенок долларов. Надо только придумать за что. Знаете, вот нам особенно нравятся в Ваших оранжереях жучьи работы по экспериментальной эволюции. Ведь это, в сущности, экспериментальное изучение эволюции». Я говорю: «Да, так это и задумано нами было еще в Москве». Они говорят: «Так ведь это совершенно новая штука. Мы так и устроим. На совершенно новое экспериментальное изучение эволюции мы Вам подкинем. Ну, сколько?» «Я без денег обойдусь,— отвечаю,— а установка у меня такая: чем меньше денег, тем лучше, чем больше денег, тем больше ответственности. А для человека что самое скверное: ответственность, отвечать перед кем-то за что-то. Это всегда неприятно. А ежели денег я, скажем, не получаю от вас, то мне на вас плевать с высокой башни. А если я от вас деньги буду получать, то должен буду стараться какие-то угодные вам науки разводить». Они говорят: «Нет, мы вовсе не такая организация. У нас деньги для поддержания развития науки. Вот вашу эту экспериментальную эволюцию мы хотим поддержать и по возможности развить. Раз у Вас такое редкостное умонстроение, что Вы против денег, то не берите много. Возьмите тысячи три-четыре в год. Это пригодится всегда. Вдруг понадобится лишних парочку дорогих каких-нибудь цейсовских ультрафиолетовых микроскопов, или какая-нибудь другая вещь понадобится, или появится какой-нибудь симпатичный и умственный молодой человек, а у Вас как раз нету денег на научного сотрудника, вот Вы и будете платить. Ведь мы-то деньги даем, а на что их тратить, это ваше собачье дело. Хотите — берите себе ассистента, хотите — микроскоп покупайте. Что хотите». Я говорю: «Ну,

* Н. В. имел в виду один из физических институтов АН.— Ред.



ладно. Что для этого надо?» — «А ничего не надо». Вытащил какую-то книжицу с квиточками и один дал мне. «А дубликат, значит, у нас останется. На квиточке Вы распишитесь и мы распишемся. Начнем с первого января. Хотите разом мы Вам все деньги пришлем или как-нибудь по частям?» Я говорю: «Лучше поквартально. Еще израсходуешь все разом». И вот договорились мы на пять тысяч в год, ежеквартально 1250 долларов на мой банковский счет переводились с первого января, я уж не помню, какого года: 32 или 31. Я им сказал тогда, что, знаете, это даже имеет, оказывается, свои хорошие стороны: в пределах 5000 долларов я буду независимым баринoм по отношению к Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Я могу с ними поругаться, послать их к чертовой бабушке. Так? Они могут обидеться и постараться сократить мне количество денег на науку. А мне наплевать. У меня вот рокфеллеровские доллары тогда есть. Они говорят: «Правильно. Вот так и надо делать. Для того, чтобы чиновников держать в аккурате». Вот так это просто делалось. Чайку выпили — пять тысяч долларов. Так что все очень было хорошо и мило.

Поэтому, когда меня иногда хвалят за то, что я там за тридцатые годы много наработал всяких вещей, то хвалить меня не за что. Я из условий, где надо было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, попал в условия, где обыкновенно жить и работать — была норма, не нужно было ничего придумывать. Поэтому нашему брату там было очень вольготно. Ну, туземцы, конечно, у них были время от времени заботы, они стонали, потому что они другой жизни-то не знали, не знали, что человек не свинья, все может вынести. Так всё не выносили и поэтому иногда тоже были недовольны жизнью. А мы посмеивались: «Ишь ты, сукины дети, набаловались как».

Наши оранжереи были готовы еще до того, как начали строить основное здание. На это время я командировал Михаила Ивановича Клемма на остров Корфу и на «Грецкий материк» добывать живых эпиляхн. Он привез очень большой материал, и с тех пор у нас популяция с острова Корфу стала печкой, от которой мы плясали, так сказать, основным исходным типом эпиляхны у нас стала эпиляхна с острова Корфу. С ней сравнивались, скрещивались все другие популяции. К концу этих работ, продолжавшихся 17—18 лет, у нас были живые жуки примерно с полутюраста мест Африки и Средиземноморья. Ну, опять-таки здесь это невозможно устроить... Господи, Боже мой!.. из-за одной секретности это абсолютно невозможно: чтобы жуки со всего ареала распространения, охватывающего два десятка стран, чтобы не засекретили! И это невозможно. В 29 году был открыт для работы уже весь институт, весь Kaiser Wilhelm Institut переехал в Бух на Lindenbergerweg*, 71.

(Продолжение следует)

Материал подготовлен М. В. РАДЗИШЕВСКОЙ

* Название улицы.— Ред.